Владимир Набоков

17/VIII-88

17 АВГУСТА 1988 г. № 33 (5203)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ: МЕЖ ДВУХ БЕРЕГОВ

«Круглый стол «ЛГ»

В «круглом столе» «ЛГ» приняли участие:
Андрей БИТОВ, прозаик;
Виктор ЕРОФЕЕВ, литературовед, кандидат филологических наук;
Ольга МАТИЧ, профессор Калифорнийского университета (США);
Вадим МЕДИШ, профессор Американского университета (США);
Владимир СОЛОУХИН, прозаик и поэт;
Дмитрий УРНОВ, литературовед, доктор филологических наук;
Роджер ХЭНКЕЛЬ, профессор Браунского университета (США);
член редколлегии «ЛГ» Светлана СЕЛИВАНОВА и обозреватель «ЛГ» Владимир КУНИЦЫН.

Светлана Селиванова. Сегодняшний наш разговор — о Владимире Набокове. Можно ли было представить себе еще совсем недавно, что мы будем у себя в стране свободно читать и обсуждать творчество этого писателя? Хотя, конечно, и читали, и обсуждали, но как запретный плод, который, как водится, всегда сладок. Меняется ли что-то в наших ощущениях сейчас, когда произведения Набокова одно за другим появляются в советских журналах? Вот уже опубликованы и «Машенька», и «Защита Лужина», и «Приглашение на казнь», и «Дар», и «Другие берега», работы о Гоголе, Пушкине... Появились и первые критические отзывы. И тем не менее широкого, обстоятельного разговора о судьбе и творчестве Набокова пока еще не состоялось. Может быть, попробуем?..

Дмитрий Урнов. Но прежде давайте договоримся, что, обсуждая писателя, в том числе и критически, мы ни в коем случае не осуждаем его. Иначе нам пришлось бы просто проголосовать: кто за Набокова — поднимите руки, кто против, кто воздержался...

Набоков — русский зарубежный писатель, может быть, крупнейший из русских писателей, которые сформировались собственно за рубежом. Уместно было бы назвать и двух других писателей того же поколения, которые нам пока еще неизвестны, но, надо надеяться, точно так же, как Набоков, придут к нашему читателю: М. Алданов и Г. Газданов. При всех индивидуальных отличиях между ними есть нечто общее, прежде всего, конечно, это сказывается в языке: особый русский язык, сформировавшийся за рубежом, в чем-то сохраняющий связь с языком старой России и одновременно на нем налет зарубежности, модерности.

Набоков — это, конечно, явление упадка. Всякий раз после чтения любого из его произведений у меня остается такое ощущение, как будто кто-то мне как читателю сделал неприятность. Или даже гадость. И не показал, не изобразил нечто гадкое, нет, остается впечатление непосредственное — неприятное.

Это впечатление идет, я думаю, от глубокой внутренней безнравственности позиции Набокова. Безнравственности серьезной, той аморальности, родоначальником которой в западноевропейской мысли считается Ницше. Достоевский, наблюдая, изображал людей, переступающих границы традиционной нравственности, прежде всего, конечно, христианской морали. А Набоков — это как бы один из персонажей Достоевского, скажем, Ставрогин, который сам стал писателем, и со ставрогинских позиций написал ряд романов.

Основная проблема для Набокова — это выбитость из колеи. А то была колея полнейшего благополучия, просто комфорта. И если бы не потрясение, не революция, то Набоков так и прожил бы в благоустройстве и, я думаю, во внутреннем бездействии. К революции такой человек, как Набоков, должен бы, по-моему, испытывать признательность, потому что именно она сделала его писателем. Он мог бы и до революции сделаться писателем, но каким по рангу?

Не выше третьестепенного, я думаю, если иметь в виду, что высший уровень — Толстой, Чехов, далее — Бунин, Куприн, еще дальше — Шмелев, Чириков... Где вы поместите Набокова?

Революция вышибла Набокова из колеи и вместе с тем поставила его в другую шкалу, дав возможность занять в литературе особое, исключительное место. Потрясение открыло Набокову совершенно новые возможности для того, чтобы он стал летописцем, изобразителем этого потрясения — для людей его среды. Но ничего, кроме чувства вышибленности из колеи, это потрясение из набоковской души не исторгло.

Набоков — представитель декаданса, упадка, но в каком-то уничижительном смысле, а упадка как утраты идеалов. На всем его творчестве, как бы лежит налет мертвенности. И уж, во всяком случае, искусственности. Искусственность возникает, конечно, еще и потому, что такие люди, как Набоков, рождались прямо внутри культуры, как бы в книжном шкафу, хотя удивительно, как он мало читал. И лекции его по русской литературе обнаруживают прежде всего малую начитанность — в самой литературе, и тем более в литературоведении, критике, философии.

Виктор Ерофеев. Моя позиция в этом вопросе, наверное, разойдется с позицией Дмитрия Урнова, и парадоксально, что в тот самый момент, когда я уже написал большую статью о Набокове для журнала «Вопросы литературы», главным редактором которого он является...

Д. Урнов. На судьбе статьи это, конечно, не отразится. Она поставлена в номер без единой правки.

В. Ерофеев. Я думаю, что Набоков — это прежде всего писатель, который действительно радикальным образом разошелся с классической традицией русской литературы XIX века, и в этом плане он художник разрыва и одновременно художник-новатор.

Набоков пошел путем Белого, Сологуба, и в этом плане он является, с моей точки зрения, постсимволистским писателем, то есть писателем, который оттолкнулся от этой традиции, потому что для него был закрыт путь в верхний метафизический этаж символизма.

Набоков — агностик по своей сути. Его «я», стремящееся к истине, все время натыкается на тот самый потолок агностицизма, который порождает огромное количество сомнений. Но тем не менее все-таки, на мой взгляд, проза Набокова двухэтажная. Если первый этаж — это реальность земная, то второй этаж — это реальность идеальная, и вместо метафизического поиска идеала Набоков предпочитает поиск идеального земного рая. Земной рай, как это очевидно, у него действительно существовал в младенчестве, это система идеальных ценностей, которую он впитал в своей семье, и этот земной рай поразительным образом перекликается с детским раем Пруста и в какой-то степени детским раем Толстого.

Утрата рая для Набокова — это утрата не только социальная, но прежде всего экзистенциальная. Это переход к миру пошлости: слово «пошлость» у Набокова — доминирующее понятие. Он постоянно возвращается к этому понятию, существует даже статья в его лекциях по русской литературе, где Набоков пытается определить, и довольно точно определяет, пошлость, исходя из опыта ее изображения у Гоголя, Толстого и Чехова.

Но Набоков, попадая в мир пошлости, определяет его не как подлинный мир, а именно как мир призраков, мир теней, иллюзий, и в своем творчестве он театрализирует этот мир, потому что для него ясно, что это мир прежде всего декорации. В этом мире возможна только игра. Подлинное существование невозможно. Но игра у Набокова не самоцельна. Через игру как протест против мира пошлости возникает у него желание вновь обрести потерянный рай. И именно туда устремляется каждый раз с каким-то невероятным постоянством герой основных романов Набокова довоенного периода, написанных на русском языке. Таким образом, схема набоковского романа, который я определяю даже как метароман, включающий в себя пять основных набоковских романов довоенного периода, есть существование детства как блаженного рая, затем выпадение из этого рая, которое начинается в тот момент, когда герой просто называется по фамилии, тем самым, так сказать, объективизируется и попадает в совершенно другие условия.

С. Селиванова. И все-таки, мне кажется, справедливо отмечая разрыв Набокова с русской классической традицией, вы тем самым невольно констатируете определенные кризисные явления в его творчестве. Конечно, они связаны не с личными, а с глобальными проблемами общего состояния культуры начала XX века, когда взамен целостной картины мира искусство начинает предлагать нам ее разрозненные фрагменты, когда обрываются естественные связи писательского «я» с коллективным «мы», когда индивидуализм и даже эгоцентризм творческого сознания вытесняет соборность и «всеминую отзывчивость». А достаточно ли одного «я», чтобы наполнить творчество общечеловеческим содержанием?

В. Ерофеев. Вы правы. Индивидуализм всегда ограничен. Но можно ли в связи с этим говорить о какой-либо безнравственности позиции Набокова? Ни в коем случае. Его позиция — это своего рода позиция естественной обороны, единственно достойный ответ на кризисность самой культурной ситуации, когда художник не испытывает уже никакой надежды на общение с миром.

Любопытно, что даже в таком страшнейшем романе, как «Приглашение на казнь», герой предпочитает не покаяться, а предпочитает погибнуть, но не примириться с миром фикций, с миром ирреальности. То есть набоковское «я» настолько сильно в своем сопротивлении любого рода тоталитаризму, что оно никогда не ищет компромисса. Оно гораздо более мощно по своему нравственному импульсу, чем «я», например, героев Михаила Булгакова. Это мое ощущение.

Владимир Куницын. Сказать о В. Набокове, что это малоодаренный писатель, не более, на мой взгляд, чем сказать экстравагантность. С каких позиций было бы правомерно судить о творчестве В. Набокова? Сравнить его романы с «Тихим Доном» М. Шолохова или «Цементом» Ф. Гладкова? Приложить к нему мерку соцреализма? Или раздраженно обнаружить в нем недостаточное почтение к социалистическим идеям победившей революции?

В. Набоков не представляется мне художником «разрыва». На мой взгляд, он на всю жизнь остался до мозга костей аристократом, каким и был рожден. Да, он утратил блаженный рай детства и черпал духовную силу в синкретизме младенческой нравственности, но он поразительно последовательно, всю жизнь сохранял и оберегал свое утраченное социальное право на аристократизм, воплотив его в аристократизм эстетический, законсервировав его в своей духовной обособленности пронеся его через все трагедии и драмы XX века. Его индивидуализм — подчеркнутый, может быть, и полемичный. Его путь «по личной обочине общей истории», неприятие массовой психологии и идеологии, сосредоточенность на отдельном человеке, личности, вероятно, имеют сознательную политическую подоплеку.

Фактически он последний по происхождению русский аристократ в мировой литературе, последний житель Атлантиды, давно ушедшей под воду истории. Отсюда его экзистенциальное, непроходящее одиночество.

Парадоксально, но его мощная эстетическая атака на нравственную суть такой фигуры, как Чернышевский в романе «Дар», фигуры для него аристократа, беспощадно враждебной, обернулась, на мой взгляд, поражением для Набокова. Он не совладал с Чернышевским. Мелко унижая его, он унизил и свой аристократизм. В его позиции нет благородства, высоты, его классовое раздражение, попытка свести запоздалые исторические счеты слишком очевидны. Ненависть Набокова разорвала его эстетическую ткань, и через эти дыры ушла нравственность.

Но там, где он остается аристократом духа и слова, то есть в своей стихии, где он ностальгический певец навсегда исчезнувшего мира, уклада, строя чувств, он достигает поразительных художественных высот! Человек, переживший свое историческое время, в определенном смысле реликт — он интересен нам еще и тем, что не только связал собою два века русской литературы, но и, подобно своим далеким предкам, смешавшим в себе кровь Востока и Запада, соединил в своем слове две мировые культуры.

Хотелось бы узнать, что думают о Набокове наши американские коллеги.

Роджер Хэнкель. В американском литературоведении занимались главным образом философской стороной творчества Набокова, в частности проблемой исторической памяти.

Обсуждались в связи с ним, а также с такими фигурами, как Джозеф Конрад или Томас Манн, и проблемы, так сказать, классического модернизма. То, что здесь говорил Виктор Ерофеев, как раз дает основания трактовать Набокова как постмодерниста: писатель, который постоянно ведет литературную игру, совершает игровое комическое снижение любых жизненных ситуаций, писатель, который рассматривает историю как своего рода карикатуру. Он пишет о личности, находящейся как бы вне истории: это после того, как история оказалась скомпрометирована в качестве решающей силы, особенно в той ситуации, когда все люди оказываются как бы в изгнании. Но я нахожу необычайно много личного страдания и переживаний, заключенных в произведениях Набокова. Это и дает возможность Набокову послужить переходным этапом от модернизма к постмодернизму, когда проблема страданий, личного страдания рассматривается по-новому. Отношение к страданию — решающая черта, позволяющая провести границу между модернизмом и постмодернизмом.

Со своей стороны, Набоков оказал влияние на таких писателей, как Джон Хоукс, Джон Барт, Томас Пинчен, Дональд Бартельми, которых, безусловно, можно отнести к постмодернизму.

В. Ерофеев. Апдайка тоже можно отнести к испытавшим воздействие Набокова.

Р. Хэнкель. Безусловно, и Апдайка... Сейчас, мне кажется, у нас наблюдается некоторый упадок интереса к Набокову. Отчасти потому, что в нем видят фигуру 60-х годов. Самое главное, мне кажется, что останется у Набокова, — это сопротивляемость его памяти. Вот почему, вполне возможно, именно сейчас, когда у нас происходит процесс переосмысления ценностей, соответственно возникает интерес и к Набокову.

С. Селиванова. Конечно, это так. И здесь не столько случайное совпадение — время гласности и время издания Набокова в СССР. Здесь совпадение глубинное: время осмысления нашего исторического опыта — и общественно-социального, и художественного — и время чтения Набокова. Мы воспринимаем Набокова прежде всего как русского писателя, пытаясь сегодня восстановить целостный контекст русской литературы XX века.

Для американского читателя Набоков — прежде всего американский писатель? Или все-таки — русский?

Ольга Матич. Он являет собой феномен двуязычного носителя двух (и больше) культур, успешно их совместившего и прославившегося в обеих. Кроме Иосифа Бродского, в новой эмиграции это пока никому не удалось...

Несмотря на весь свой блеск, первая эмиграция, к которой принадлежал Набоков, была в литературном отношении скорее консервативна. Кроме Ходасевича, зарубежная русская критика прозу Набокова практически не принимала. Возможно, это отчасти и послужило толчком к его литературной американизации.

Эмиграция в литературном отношении имеет свои преимущества. Она обогащает писателя новым, говоря по-формалистски, остраненным углом зрения на мир. Создается эффект двойной экспозиции. В случае с Набоковым это означало наложение американских реалий и английского языка на русский язык и культуру.

Роман «Лолита», который сделал Набокова знаменитым американским писателем, является апофеозом такого остраненного видения. Ироническое изображение Набоковым американской жизни послевоенных лет заставило американского читателя увидеть по-новому провинциальную буржуазную Америку. Еще один парадокс: несмотря на элитарность набоковского письма, образ Лолиты вошел в американскую поп-культуру. Набоковская героиня повлияла на развитие молодежной культуры: слово «нимфетка» вошло в обиход и как бы отделилось от своего создателя.

Как исследователю зарубежной русской литературы мне особенно интересно влияние Набокова на молодых писателей третьей эмиграции. Я хотела бы выделить двух прозаиков — Сашу Соколова и Эдуарда Лимонова. Как известно из письма Набокова покойному Карлу Профферу (издатель «Ардиса»), Набоков дал очень высокую оценку первому роману Соколова «Школа для дураков». Проза Соколова вообще во многом соприкасается с набоковской линией.

С точки зрения набоковского влияния нашумевший в эмиграции роман Лимонова «Это я — Эдичка» можно назвать постсоветской, или эмигрантской, «Лолитой». Это история униженного русского поэта в поисках утраченной любимой девочки-нимфетки, которая предпочла ему красивую американскую жизнь. (Сравним набоковские поиски утраченной любви и утраченного рая.)

Соколов в своем последнем романе «Палисандрия» наряду со многим другим пародирует и «Эдичку», и «Лолиту», подменяя набоковскую нимфетку древними, дряхлеющими старухами. Палисандр одновременно ищет утробного утраченного рая и сам является как бы Лолитой.

А можно ли говорить о каком-либо влиянии Набокова на современную советскую литературу?

В. Куницын. Насколько я могу судить интересуясь нашей молодой советской прозой, влияние Набокова на нее очевидно. Оно не широко, если можно так сказать — избирательно. Пока чаще внешнее, стилистическое. Да ведь и то благо, если учесть, как в целом невысока культура слова наших не только молодых писателей.

С. Селиванова. Здесь, по-моему, скорее интересен не вопрос влияния, а вопрос восприятия. Что, например, значит Набоков для таких писателей — участников нашего разговора, как Андрей Битов и Владимир Солоухин?

Андрей Битов. Открытый разговор о Набокове в Советской России только начинается, и поэтому обсуждение его судьбы предваряет разговор о его прозе. Наша потребность сличать судьбу и творчество, каждый раз сознавая их неразрывность, уже есть признак большого поэта. Гармония этого соотношения лишь в малой степени определяется личным выбором. Судьба выбирает художника не столько в решительности поступка, сколько в соответствии предначертанию. Мы не выбираем ни страну, ни время, ни язык. Они нас выбирают.

Возьмем четыре даты: рождение в 1899-м, эмиграция в 1919-м, переход на английский язык в 1940-м и публикация «Лолиты» в 1955-м. Первые две им не выбраны, зато выбраны им вторые две. Странный это год — 1899-й! Будто столетие, готовясь к будущему веку, рождает нам будущее. Набоков — ровесник Платонова. Надолго еще России сличать эти две судьбы, не сходные ни в одном часе, ни в одной букве. Сам Набоков, щепетильный в каждой опечатке, допускает в биографических справках и 1899-й, и 1900-й, и 1901-й как годы своего рождения. Несложно истолковать это: рожден еще в XIX веке (как Пушкин «успел» родиться еще в XVIII!), или — ровесник века, или — рожден в первый год XX. Все три символа ему подходят. Уже близится ежевековой спор, что считать концом, а что началом века XXI...

1919 год... Это не Набоков, а его родители, его семья покидает Россию. Набокова-писателя в этот момент не существует, но именно этот момент его рождает. За плечами лишь чересчур счастливое детство, отрочество и юность. В богатой англоманской семье Набоковых все первое: автомобиль, надувные ванны, ракетки... Итак, гимназия, стишки, бабочки, теннис, усадьба, первая любовь — вот что экспортирует Набоков из России, ничем не омраченное и не тронутое ни горем, ни опытом. Все это превосходно им же и написано и в «Подвиге», и в «Даре», и в «Других берегах». Он вывозит такой детский, такой нетленный образ дома, что не поразит его в Европе уже ничто, и дома у него нигде не будет — всюду пристанище, до самой смерти. Дом у него был один раз в жизни — в Петербурге, в Рождествено, в Крыму — там он и остался.

Набоков как писатель — не эмигрант. Он невероятный опыт истории — отсаженная ветвь русской литературы. Урнов здесь сделал допущение, что бы было, если бы не было революции... Так вот, у нас есть единственная проекция такого допущения в развитии литературы, и это Набоков. Литература Советской России и литература русского зарубежья — привычное противопоставление. И только сейчас мы на пороге попытки объединить их снова в понятие русской литературы XX века.

Русская современная литература пробежала, пролетела даже свое развитие от Пушкина до Блока за каких-нибудь сто лет, достигнув не только мирового уровня и признания, но и мирового состояния как национальная литература. В каком-то смысле классический ее период оказался вполне завершен, с Буниным в конце. 1917 год поставил ее в иные параметры. Непрерывной ее уже не назовешь. Набоков есть такая предположительная и немыслимая возможность. Он рожден воображением. Истории.

То, что Набоков не «эмигрантский» писатель, доказано его дальнейшей судьбой. Он «не вписывается», он «белая ворона». Ему тесны рамки эмигрантской литературы. Один Ходасевич, кажется, что-то понимает в нем, за что сноб Набоков хранит ему вечную благодарность. Необходимость покинуть фашистскую Германию, спасая жену, приводит его и к перемене языка своей литературы. Случай единственный и ни с чем не сравнимый в истории мировой литературы. Подвиг. И это уже не только Судьба и соответствие ей, но и собственный выбор и поступок. Каково быть сорокалетним, крупнейшим автором целого собрания и решиться покинуть все это? И начать никому не известным на другом континенте и в чужом языке?..

Сравнение его русских и английских романов — тема для диссертаций и дипломов на многие десятилетия. Очевидна ось и очевидна симметрия. Последний — «Дар» и первый — «Жизнь Себастьяна Найта». Вершина и ощупь. И далее, отступая в глубь неведомого здесь никому его русского наследия, рождаются англоязычные параллели его русских романов: «Приглашение на казнь» — «Под знаком незаконорожденных». «Защита Лужина» — «Пнин», наконец, «Камера обскура» — «Лолита». Интересно, что поздний, вершинный его англоязычный роман соответствует роману русскому, столь еще молодому... Вторая жизнь, второе рождение, вторая молодость. Поздний Набоков, после «Лолиты», — отдельная тема, более поздняя, чем сегодняшний разговор. «Лолитой» он завоевал мировое право на все свое творчество, и позднее, и русское: не пропадет, не забудут.

Два его «возвращения» в русскую речь — «Другие берега» и перевод «Лолиты», так же как его работа по внедрению русской литературы в английскую речь («Евгений Онегин», Гоголь, Лермонтов. «Слово о полку...»), — свидетельство такой острой, мучительной, нежной связи с родиной, которую я другим словом чем «патриотизм», не могу обозначить.

Я не думаю, что Набоков научил русский язык английскому, но в какой-то степени он сумел английский язык научить русскому, и это тоже немаловажная заслуга. Как, может быть, такая оценка когда-нибудь достанется и Бродскому, который все-таки продолжает учить русский английскому языку.

Все эти перспективы настолько, по-моему, имеют долгое время, что сейчас говорить о какой бы то ни было мертвенности явления Набокова не то что несправедливо, а просто несвоевременно.

О. Матич. Можно мне добавить одну деталь? Вообще русская литература с давних времен в значительной мере создавалась как бы на периферии — в ссылке, в изгнании (внутри или вне страны) или за границей (Гоголь, Герцен, Тургенев, Достоевский и т. д.). Но особое место Набокова связано с его вхождением сразу в две литературы.

Владимир Солоухин. Мне кажется, это очень разные вещи. Гоголь писал «Мертвые души» в Италии, Тургенев многое писал в Париже, формально за границей. Я, например, и Андрей Битов — мы пишем в своей комнате. А попробуйте посадить его или меня в камеру... изменится психология. Гоголь и Тургенев не теряли своей родины. Я вот недавно был в Югославии и там тоже писал, но это совсем другое дело.

Я вспоминаю, как в 1979 году, когда я оказался в Соединенных Штатах Америки, у меня взяли интервью для «Голоса Америки». Это было еще до афганских событий и еще можно было иметь отношения с «Голосом Америки», примерно так же, как сейчас, при гласности и перестройке... Я тогда сказал, что два потока русской литературы — эмигрантский и наш, советский, — должны в конце концов в своих лучших образцах слиться и что я вижу то замечательное время, когда у нас, в Советском Союзе, в Москве, будут издаваться и публиковаться произведения Набокова.

Стоило мне только вернуться из поездки, как я получил проработку за то, что упомянул имя Набокова в своем интервью. А сейчас мы сидим тут, и у нас по Набокову «круглый стол». Это прекрасно...

Я завидую Белле Ахмадулиной, которая успела лично повидаться и поговорить с Набоковым в Женеве. Я в Женеве был, но это произошло уже некоторое время спустя после смерти Набокова.

Я бы ему сказал, если бы все же встретился, что на первом месте для меня... это ваши стихи, на втором месте — «Другие берега», потом «Дар», а потом уже все остальные романы...

Он своими романами как-то задавил представление о нем как о поэте. Я не знаю, на какие весы кладут поэзию, но В. Набоков не меньшее явление в поэзии, чем Ходасевич. Знают его как романиста. А ведь это замечательный поэт.

У Д. Урнова проскользнула, значит, фразочка, что в общем он малоодаренный писатель... А ведь это уже вздор. Набоков же действительно оказался в сверхэкстремальных условиях. Ну Бунин, Куприн, Шмелев, Борис Зайцев, они оказались за границей уже сложившимися писателями. Бунин уезжал в эмиграцию, будучи академиком.

Они, конечно, там вширь умножались, написали много произведений. Бунин даже стал Нобелевским лауреатом. Но выше-то потолок свой они уже не подняли.

А ведь Набоков начал от нуля. Он уехал в эмиграцию юношей.

Здесь неправильно было сказано, на мой взгляд, что язык его старомоден. Это просто чистый русский язык. Еще не замусоренный нашими двадцатыми, тридцатыми годами, это тот чистый язык, который он увез с собой и там продолжал культивировать.

Я считаю, что сделаться Набоковым, каким мы его сейчас знаем, мог только одаренный, сверходаренный человек.

Что касается той роли, которую сыграла в его творческой судьбе революция, то в высказывании Д. Урнова может быть, есть какая-то доля правды. Вот Маяковский и Есенин. Они оба прошли через горнило революции. И я сейчас скажу, может быть, непривычную мысль: Маяковский, варясь в котле революции, как поэт становился все хуже, хуже и хуже, а Есенин, варясь в котле революции, становился все лучше, звонче, глубже и в конце своей жизни превратился в замечательнейшего, великого русского поэта. Можно сказать, что Есенина сделала революция. Он был херувимчик до революции, его представляли ко двору — вот отрок светлый. В какой-то степени, может быть, для противопоставления тому черному, темному, мрачному старцу, тоже из народа, который господствовал в то время при дворе, Распутину.

Конечно, нельзя гадать сейчас, стал бы вообще значимым писателем Набоков, если бы не произошло известное событие в 1917 году, и каким бы он стал писателем? Неизвестно.

Было сказано, что он как писатель аморален. Вот уж чего никак нельзя сказать: если уж любовь к России, к ее культуре, к ее слову, к ее речи — если это аморальность, то надо спросить: а что же такое мораль?

Приоритет формы над содержанием у него, конечно, в какой-то степени существует. Однажды еще при жизни Набокова «Литературная газета» опубликовала большую статью о нем. И он очень рад был: пусть ругают, но хоть в России, на родине, большая статья о нем. В той статье его назвали литературным щеголем. У него действительно есть некоторое любование самим собой, своими стилистическими возможностями.

Он, конечно, в чем-то заблуждался, может быть, плутал, но там плутал, где нога нашей советской литературы 30—40—50-х годов и не ступала. Трудно себе представить, как можно сопоставить стиль огромного количества романов в 500 страниц, которые здесь публиковались и получали соответствующие премии, с прозой Набокова. Просто — другая планета, другое измерение.

У нас, конечно, есть замечательные писатели и стилисты. Но в принципе у нас в девяноста случаях из ста писатель пересказывает содержание, а не пишет его. Набоков писал, это был художник.

И даже вот с «Лолитой»... Эротика становилась модной, порнография захлестывала западный мир, западную литературу, и, возможно, в нем взыграл почти спортивный азарт — я вам, мол, сейчас покажу, как это делается на высочайшем художественном уровне. И действительно показал. Может быть, одновременно он хотел один раз и навсегда решить и свою материальную проблему и чтобы, как у нас говорят, «закрыть тему» и не думать больше о ней. Он и это сделал.

И он жил в гостинице в Швейцарии до конца жизни. Рассчитал, что денег ему до конца жизни хватит. Легче всего было купить домик. На те деньги, которые он платил за гостиницу, можно было нанять целый штат обслуги. За ним бы ухаживали, кофе подавали, а он жил в гостинице. Наверное, было внутреннее рассуждение: да — у меня нет родины, нет России, так не нужен мне и дом. Я буду жить в гостинице и проживу до самого конца. Нет России, нет и дома...

А. Битов. Это совершенно справедливо...

В. Солоухин. Здесь было сказано, что в США заметен упадок интереса к Набокову, во всяком случае у критиков. Я считаю, по отношению к Набокову это совершенно не страшно. Набоков как явление нужен нам здесь. Нам, русским писателям, живущим в Советском Союзе. Нужен как учитель, как образец. А то, что интерес к нему утих или не утих в Соединенных Штатах, это никакого значения для Набокова не имеет. Еще мне осталось сказать о том, что быстрее нужно сделать достоянием читателей его литературоведческие работы. Ну, «Гоголь» уже был опубликован, а вот комментарий к «Евгению Онегину» обязательно бы нужно издать. Я думаю, там целый кладезь интересного, мудрого, точного, тонкого, как это всегда у него бывает.

В. Ерофеев. Вы напомнили о четырехтомном комментарии к «Евгению Онегину», и поэтому прозвучавшая тут ранее мысль о малой начитанности Набокова, о том, что Набоков, дескать, мало и плохо знал литературу, конечно, вызывает естественный протест. Я хочу напомнить, что, кроме «Евгения Онегина», Набоков перевел на английский язык и «Слово о полку Игореве», так что мы должны ему поклониться как человеку, который открыл для Запада и начало русской литературы, и ее вершину.

Вадим Медиш. Совесть, видимо, меня заставит сказать, что я не большой поклонник Набокова как читатель, любитель русской литературы, русский эмигрант, живущий в Америке. Как профессионала Набоков меня интересует: у меня странная специальность — у нас она называется «россиеведение», «страноведение». Страноведение, или, отчасти, гадание на кофейной гуще и звездах. Хотя сейчас звездочеты в почете. Меня Набоков профессионально интересовал и интересует главным образом как общественное явление, как необычная личность. Действительно, Набоков — это что-то совершенно особенное. К нам в Америку привезли некрасовцев. Это группа казаков, старообрядцы, бежавшие в Турцию. У них сохранился совершенно необычный язык. Так и Набоков, как осколок исчезнувшей действительности, на который революция не оказала сравнительно большого влияния. Как эмигрантский писатель он необычное явление. Его можно сравнивать с Конрадом, но русских писателей таких больше не было. Я имею в виду писателей-эмигрантов, которые смогли выйти на столбовую дорогу литературы.

Тут были высказаны разные мнения о том, почему это произошло. Мне кажется, имела место и счастливая случайность, и в какой-то степени компромисс. Набоков написал «Лолиту», как бы удовлетворяя «соцзаказ» нашего свободного рынка. Все-таки это произведение на грани порнографии, эротики, оно, по-моему, резко отличается от всего остального, им написанного. Мне кажется все-таки, что «Лолита» была написана только для денег. Ничего зазорного в этом не было, просто Набоков решил попробовать свои силы в лотерее нашей жизни в Америке и вытянул выигрышный билет.

Я согласен с тем, что он во-первых поэт и уже во-вторых прозаик.

Несколько слов о его языке. У него язык не совсем американский, он слишком академичен, слишком правильный, слишком без ошибок. Интересно, что то же самое можно сказать и о его русском. Его русский язык слишком аристократичен. Конечно, щегольство у него есть.

И, наконец, самое последнее. Просто дружеский совет. Я только что приехал сюда. Не был в Советском Союзе полгода. Перемены большие — в настрое, тональности того множества вещей, которые пишутся, печатаются. И вот есть такое английское изречение: «адвокат дьявола». Все-таки, я боюсь, есть тенденция немножко некритически относиться ко всему тому, что долгое время и очень несправедливо было под запретом. По-моему, этого делать не нужно. Сегодня речь идет о большом писателе, но есть опасность перехвалить и его.

А. Битов. У нас еще недостаточно развита критичность к разрешенному плоду...

В. Медиш. Это понятно, какое-то чувство вины перед такими Набоковыми, которых не давали русскому читателю... Почеловечески это понятно. Но все-таки это та тенденция, за которой нужно следить, нельзя позволить, чтобы она возобладала. Дайте читателю Набокова, посмотрите, как он к нему отнесется...

А. Битов. Наша попытка стать гласными и демократичными, конечно, будет связана с раскачиванием такого рода, потому что это культура — попасть в яблочко и сохранить пропорцию оценки мира. Эти взаимоотношения не сразу вырабатываются. Но дело в том, что ситуация с Набоковым уже такова, как вы ее предвидите, и гласность, и наличие большей свободы печати, которая разыгралась за последние годы, уже поставили Набокова в такой контекст, в котором читатель совсем не хлынет и не накинется на Набокова. Его, к счастью, возьмет теперь не просто массовый читатель, которому наконец дали запретный плод, а возьмет его тот, кому он может понадобиться и пригодиться, будет нужен для общей культуры.

То, что препятствует его прочтению — его высокомерие, его аристократизм, — связано с его одиночеством и отсутствием какого-либо оппонента. Еще неизвестно, чего в нем больше — гордости и снобизма или застенчивости и стыдливости.

В. Солоухин. И поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах впредь не ставьте рядом имена Набокова и... Эдички Лимонова.

О. Матич. Я говорила о влиянии Набокова на Лимонова, а не об их сравнительных достоинствах...

С. Селиванова. В связи с этим замечу, что призыв нашего американского коллеги Вадима Медиша к большей аналитичности в нашем освоении ранее недоступной нам литературы показался мне весьма примечательным. Ведь он исходит как бы со стороны.

В. Ерофеев. Вы знаете, я люблю слово «гласность», но еще больше люблю слово «свобода». Мне кажется, в атмосфере полной творческой свободы Набоков найдет свое место здесь, на своей родине. Я хочу вступиться за маленькую испорченную американскую девочку, имя которой стало всемирно известным. Потому что считаю, так же как и А. Битов, что есть гораздо более глубокая связь Набокова с Лолитой, чем связь его с социальным заказом, с книжным рынком, с американским капитализмом. Любовь к Лолите, запретная любовь — это любовь к чему-то такому, что недоступно обывательскому сознанию. Это эмоциональный, эстетический и этический бунт Набокова, в том самом его эпицентре, который разразился в этом романе.

В. Куницын. Жаль, что роман, о котором так много здесь спорили, у нас не издан...

С. Селиванова. Как не изданы и многие другие интереснейшие его сочинения — например, очень мало известен Набоков-рассказчик, почти не известен Набоков-поэт; не могу тут не присоединиться к мнению Владимира Алексеевича Солоухина — и для меня Набоков в первую очередь поэт, поэт высокой бунинской ноты. Конечно, обделим мы себя, если не переведем и не опубликуем и четырехтомный набоковский комментарий к «Евгению Онегину», о котором сегодня уже упоминалось, не дадим нашему читателю возможности познакомиться с его лекциями по русской литературе — впрочем, всего не перечислишь...

В заключение хочется поблагодарить участников нашего «круглого стола». Будем надеяться, что сказанное сегодня поможет читателю войти в непростой мир набоковского творчества. Творчества, если перефразировать название, может быть, самой исповедальной книги Набокова «Другие берега», протекающего меж двух берегов — русским и американским, берегов жизни, литературы, судьбы.